

ЛОГОС.

ПЛАТОН
ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА

ISSN 0869-6377
eISSN 2499-9028

ТОМ 27
№4
2017



Содержание

- 1 Дмитрий Кралечкин. Разведение субстанций

КОНСПИРОЛОГИЯ

- 11 Илья Яблоков, Тигран Амирян, Полина Колозариди.
Политика и поэтика в теориях заговора
- 23 Ирина Дуденкова. Философия как криптография
- 47 Андрей Тесля. Миф об иезуитах в отсутствие иезуитов:
Россия, 1860-е
- 65 Джованни Савино. Инородческие заговоры: поляки, евреи,
немцы и украинцы в представлениях русских националистов
начала XX века

ПЕРЕХЛЕСТ ВОЛНЫ

- 87 Дмитрий Кралечкин. Платон дает сдачи
- 127 Алексей Глухов. Философский реализм против догматизма
школ. Ответ Дмитрию Кралечкину
- 149 «Проблема, которую мы решаем сегодня, связана
с чем-то предельно несправедливым». Беседа
Глеба Павловского и Андрея Тесли о книге
Алексея Глухова «Перехлест волны»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ

- 165 История понятий и перевод. Интервью
с Мелвином Рихтером

IN MEMORIAM

- 179 Александр Сегал. Золотой век и «Железная гвардия»:
к 30-й годовщине смерти Мирчи Элиаде

КРИТИКА КРИТИКИ

- 193 Виталий Целищев. Как не надо писать рецензии
(Вадим Руднев. Делёз говорит)

Разведение субстанций

ДМИТРИЙ КРАЛЕЧКИН

Философ, переводчик, независимый исследователь (Москва).

E-mail: euroontology1@mail.ru.

Ключевые слова: антропология знаний; доказательная медицина; гомеопатия; информационная асимметрия; клубные практики; привилегия привилегии.

В статье рассматриваются некоторые моменты современной антропологии знаний в связи с противопоставлением доказательной медицины и парамедицины/нетрадиционной медицины (гомеопатии, остеопатии и т. д.). Предполагается, что последняя использует принципиальную информационную асимметрию, которая доказательная медицина производит в качестве одного из своих условий. Такая медицина обещает объективированный подход, который грозит тем, что каждый конкретный ее потребитель/пациент может оказаться в числе исключений, что для него означает неприемлемые издержки. Соответственно, привлекательными оказываются стратегии кастомизации, одомашнивания объективированного знания, возвращающие его к доновременным образцам. Более того, такая domestikация сама по себе выполняет терапевтический эффект, в некоторой мере способный объяснить необъяснимое — с точки зрения доказательной медицины — воздействие нетрадиционных медицинских практик. В то же время гомеопатия

и родственные ей направления нетрадиционной (бездоказательной) медицины удачно используют некоторые формы интерсубъективного знания, отдающие привилегию закрытым, клубным, дефицитным услугам и знаниям: привилегия отдается самой привилегии.

Тезисы статьи иллюстрируются на примере советского кинематографа, в котором гомеопатия могла использоваться в качестве маркера криминальности и едва ли не диссидентства: применение ее методов означало создание хронометрического экрана, позволяющего дистанцироваться от официального времени, следственных органов и т. п. В конечном счете оппозиция доказательной медицины и гомеопатии может пониматься в качестве противопоставления аномалии, которая может убиваться, и аномалии, в качестве которой можно жить: гомеопатия обещает то, что, даже если пациент аномален, для него всегда найдется отображение в теории, своего рода «личный кабинет», в который он может зайти и получить кастомизированную услугу.

ГОМЕОПАТИЯ — царство субстанции, которой никак не удастся стать субъектом, и в то же время — субъекта, желающего снова стать субстанцией. В отличие от медицины как одной из естественных наук Нового времени, периодически меняющей свои концептуальные рамки и еще быстрее — актуальные теории, в частности нозологические, гомеопатия — один из продуктов античной и средневековой философии. В ней закрепилось представление о том, что индивидуальная субстанция не может быть разделена на энное количество элементов, с которыми можно работать как с множеством, методом перебора, рекомбинаций, *trials and errors*, то есть в рамках *mathesis universalis*. Разумеется, метафизика способна описать, что такое субстанция вообще, однако каждая субстанция отвечает только за себя, требуя индивидуального подхода, подгонки, кастомизации. Если единство субстанции не дано в ее частях и не гарантировано ими (поскольку любое такое единство требовало бы дополнительных связей, посредников и перемычек между элементами), тогда субстанция в пределе может присутствовать и в том случае, когда ни одной ее «части» не наблюдается («берберийская утка», она же схоластический «ангел»). Следовательно, встреча одной субстанции с другой не предполагает обязательного присутствия обеих *in corpore*, отсюда и абсурдный с точки зрения доказательной науки принцип разведения субстанций до того состояния, в котором их просто не остается.

Запрет гомеопатии вскрывает некоторые особенности актуальной антропологии знаний: какие знания о самих себе субъекты, то есть пациенты, готовы принять, сколько готовы за них заплатить и как такие знания должны распространяться? Доказательная медицина стремится к автоматизации процедуры сбора информации: мы живем в мире, в котором классический анамнез становится все более ненадежным. Посещая современных врачей, являющихся декларированными сторонниками доказательной медицины, легко убедиться в том, что подобные визиты в чем-то схожи с общением с автоматом: значительная часть работы уходит на то, чтобы выстроить разговор по стандартизированным протоколам. Вообще говоря, это можно сделать и за пре-

делами врачебного кабинета, вынести на аутсорс или же передать самому пациенту (например, легко внедрить систему, в которой больной заранее заполняет анкету, составленную по принципам доказательной медицины, и не тратит на это времени непосредственно в кабинете). Советские и российские «медицинские карты» становятся все более нерелевантными — в них слишком много бездоказательной информации, случайных записей, следов контингентности. Слишком много личного: все чаще кажется, что больной с медкартой ходит со своим личным дневником («черными тетрадами»), который ведет по каким-то приватным правилам, надеясь, что именно такой приватный язык поможет врачу разобраться в его случае. Кстати говоря, эти пухлые палимпсесты болезней, «анализов», ошибок и неразборчивого почерка достойны стать предметом *media studies*: как именно складывался анамнез еще двадцать лет назад и почему он сегодня становится все менее важным? Почему и как одни формы документации вытесняют другие, определяя, что именно является знанием, а что не является? Так, к примеру, перестало быть знанием утверждение о том, что «нечто когда-то помогло», хотя, естественно, это не мешает вам повторить прежний опыт в надежде на то, что он и в самом деле повторится. Как скажет любой сторонник доказательной медицины, вы просто не знаете, что вам помогло и помогло ли вообще.

Гомеопатия — регион таких знаний и практик, которые когда-то претендовали на индивидуализируемость, работу с маргиналиями, отклонениями, малыми мерами и делами и т. п., то есть на все то, что по каким-то причинам не входило в рутинизированный мейнстрим, не обрабатывалось по умолчанию и в общем порядке, не регулировалось рациональной врачебной бюрократией (но только собственным этосом). Личный дневник должен был найти своего читателя. Это отклонение функционирует по-разному: поклонниками гомеопатии могут быть как малограмотные пенсионеры, так и доктора наук, регулярно посещающие западные медицинские и спа-центры. Уже в советское время гомеопатия задается в качестве одной из опций в пантеоне альтернативных (и не всегда легальных) способов решения проблем, возможностей быть не как все, доставать что бы то ни было помимо официальных путей, находить нужные знакомства и пр. Гомеопата можно найти только по благу. Разумеется, официальная медицина сама по себе порождает множество вариантов поиска обходных путей, знакомых врачей, особых (например, ведомственных) клиник и т. п.: в этой сфере практически все клиенты испытывают

острый информационный голод, цена которого может оказаться неприемлемой, что вызывает очевидное желание подстраховаться и компенсировать риски. Там, где, как хорошо известно, основная часть пациентов получает услуги среднего качества или не получает их вовсе, возможность получить нечто большее составляет предмет социальной гордости и является признаком опытности, принадлежности к определенным кругам. Наличие случаев реальной информационной асимметрии (врач знает больше пациента о состоянии здоровья последнего или даже скрывает от него диагноз) становится интересубъективным фактом, который заранее закладывается в решения, включая случаи, когда врач просто не знает, что же с больным, то есть находится в том же неведении, что и последний. Принципиальная непрозрачность создает структурное место для «заговора врачей», который, как тень, присутствует даже в самых современных и секуляризированных научных практиках, — именно потому, что доказательная наука не может ограничиваться чисто теоретической функцией, но должна вступать в коммуникацию со своими собственными предметами. Двусмысленность асимметрии, от которой невозможно освободиться, в том, что она может как эксплуатироваться, подтверждая, что это действительно медицина, то есть нечто профессиональное, так и становиться источником для подозрений.

Таким образом, гомеопатия и многочисленные варианты парамедицины в целом (мануальная терапия, остеопатия, рефлексотерапия и т. п.), хотя и имеют разный генезис, питаются информационными/когнитивными искажениями, регулярно возникающими в сфере стандартизированной практики, в которой устанавливается особый режим асимметрии. Поскольку цена незнания велика (в крайнем случае — смерть), пациент пытается вложиться в отношения, которые в обычном случае оставляют его без необходимых знаний, то есть найти те или иные обходные пути, что в пределе ведет к отказу от области регулярного знания/незнания в целом: представляется более выгодным отказаться от сферы, где возможны такие информационные издержки, уже на первом шаге и без промедлений перейти к избирательным, личным, кастомизированным отношениям (тем более что, как говорят знающие люди, «все равно к этому придешь, если хочешь вылечиться»). Контрмедицина работает благодаря всегда присутствующей перспективе информационного коллапса доказательной медицины, срыва всех сделок: поскольку доказательная медицина построена на том, что своими методами на уровне теории уже исключает меня (никто не знает, не попадает ли он в число *outliers*),

а выяснять это — слишком дорого, лучше сэкономить и сразу заняться теми методами, которые гарантируют индивидуальный подход не только в плане услуг (что, конечно, допускает и обычная медицина), но и на уровне теории.

Соответственно, гомеопатия, в отличие от доказательной медицины, предлагает достаточно убедительный нарратив, подчеркивающий приватность и индивидуальность больного; это теория, которая заранее сделана для того, чтобы клиенту с ней было удобней. Невозможна наука, которая «только вас и ждала», но гомеопатия намекает на такую возможность. В ней каждый случай должен быть предельно исключительным и сингулярным, каждый больной — это нозологический гапакс легоменон¹, ради которого она только и существует. На практике это, конечно, не совсем так: скорее, все ограничивается традиционной характерологией, которая, однако, уже привлекательнее новоевропейской абстрактной медицины, поскольку говорит о том, что некоторые болезни свойственны вам в силу того, кто вы такой, на уровне фенотипа и известного вам самим характера, а не только в силу генетической предропределенности или анонимных микроорганизмов. Гомеопатия — наука с человеческим лицом. В ней каждая болезнь должна получить узнаваемый физиогномический облик, интерпретацию, снимающую чуждость «большого внешнего», *Grand Déhors*, анонимных сил, природы и рока: да, это болезнь, но она такая именно для вас, потому что вы такой, а не другой; в конечном счете это просто ваша особенность, как специфический, совершенно уникальный тембр голоса, черты лица, манера чихать или смеяться и т. д. Если новоевропейская наука постепенно экстериоризирует болезни, делая их общими и анонимными, переданными в «совместное пользование», то гомеопатия (и прочие практики целительства) одомашнивает их, превращает нечто опасное в домашних питомцев — в этом, собственно, и заключается лечение: в том, чтобы сделать из чего-то чрезвычайного и неожиданного нечто постоянное, привычное и знакомое, еще одного члена семьи. Жак Деррида говорил, что ставка феноменологии на голос, то есть фонологию, означает, что в голосе речь должна слышать сама себя, узнавая в себе собственную мысль. Чего-то подобного стремится достичь в конечном счете и гомеопатия: в ней каждый должен узнать в болезни самого себя, заговорить «на ней» как на родном языке, понять, что это «он», а не что-то внешнее и наносное. Принципиальное отличие такой «паранаучной» теории в том,

1. Слово, употребленное лишь единожды. — Прим. ред.

что если в доказательной медицине для неспециалиста по определению всегда остаются лакуны (то есть он никогда доподлинно не знает, что именно с ним *с точки зрения медицины* происходит), обусловленные генерализованным подходом науки в целом и массивом необходимых знаний, то гомеопатия дает ему гарантию, что, пусть ему и недоступны все тонкости гомеопатической теории, она все равно сделана для него и под него, оставляя в нем место для его локальных проблем. В этом смысле гомеопатия относится к доказательной медицине так же, как психоанализ к экспериментальной психологии: только кажется, что это науки об одном и том же.

Специфицирующий, партикуляризирующий характер гомеопатии хорошо известен. Так, в советском кино можно было найти некоторые примеры использования гомеопатии как криминального коннотата: в шестой серии сериала «Следствие ведут знатоки» крупный преступный дилер мадам Прахова (Эмилия Милтон), выступающая одним из звеньев цепочки хищений золота с приисков и его сбыта, регулярно отвлекается на свою «гомеопатию», которую пьет по только ей известному графику. Гомеопатия создает своего рода алиби и в то же время экран: Прахова может легко взять паузу в общении с милицией, поскольку врачебный императив представляется более важным, чем императив следственных действий. Кажется очевидным, что человек с таким распорядком не может участвовать в преступной деятельности, известной своими непредвиденными рисками и сбоями в расписании. Эта очевидность обманчива: именно эта регулярность Праховой позволяет ей работать как часы, стать хронометром хорошо темперированной преступной группировки, остро нуждающейся в инструментах синхронизации. Потоки ворованного золота завязаны на Прахову, а сама она настраивается по гомеопатии как внешнему метроному-хронометру, постоянно отбивая ритм перемещений тел и товаров в группировке, логистике, в которую никак не могут проникнуть официальные власти. Гомеопатия оказывается способом оспорить один из базовых ориентиров общего, контролируемого официальными органами социума — хронометрию, обычно навязываемую сверху и молчаливо принимаемую. Здесь же бою курантов, которым открывается Новый год и который быстро распространяется на всю территорию страны, настраивая часы в каждой точке пространства-времени, противостоит единичное тело пенсионерки, которое своим собственным биоритмом, вынесенным вовне и наглядно опредмеченным ее гомеопатией, выполняет саботирующую функцию. Она, как образцовый

диссидент, делает много больше распространения или чтения какой-нибудь запрещенной литературы: она не потребляет недозволенное, а производит сами условия производства чего-то недозволенного (нелегального золота, валюты и т. п.) — излучает, «раздает» на ближайшее окружение, на собственную сеть не то чтобы неправильное время, но именно иное по своему устройству, слишком густое и в то же время слишком прерывистое, дробное. Дискретизация официального времени позволяет создать своего рода файерволл: следственные органы вынуждены ждать, пока для них откроется окно, когда Прахова будет для них доступна, но в пределе (хотя эта возможность сюжетно не используется) дискретизация может подчиняться сколь угодно сложной формуле, никак не совпадающей с официальным арифметическим/солярным хронометражем. Более того, эта сложная формула — и в этом ее отличие от логики доказательной (бюрократизируемой и автоматизируемой) науки — может и должна подстраиваться под того, к кому она применяется: пациент в идеале должен понимать, как именно для него идет время и как он должен его отсчитывать. Прахова становится криминальным навигатором, пролагающим свою собственную траекторию в хорошо нормализованном советском мире.

Делегализация гомеопатии — достаточно анахроничный просвещенческий жест в мире, где он уже не нужен, просто потому, что такая делегализация усиливает те *biases*, которые подкрепляют существование паранаучных видов медицины. В актуальной ситуации он легко уподобляется всевозможным мерам по нормализации и рутинизации, которые, как представляется публике, нацелены на то, чтобы постричь всех под одну гребенку: запрет гомеопатии бьет в ту же точку, что и, к примеру, критика элитных средних школ. В обоих случаях удару подвергается принцип «клубных» обществ, в которых любые социальные взаимодействия и распространение/оборот знаний возможны только при условии личного знакомства, то есть с большими издержками, но и с большими (потенциально) выгодами, чем в варианте, принятом по умолчанию. Советские практики «однопартийности, но многоподъездности» породили стойкое неприятие таких попыток устранения маркированных социальных возможностей, которые оставляют лишь немаркированное, то, что будет у вас при любом варианте развития событий, — общее, серое, обычное. Вопрос не в том, как именно осуществляется маркировка, а в том, что она вообще должна быть возможной: должна сохраняться не какая-то конкретная привилегия, а привилегия, отдаваемая привилегии. Гомеопатия лишь

удачно эксплуатирует эту общую схему клубной приватизации и маркирования, «привилегии привилегии», позволяющую отделить общее пустое, бессодержательное социальное пространство от личного наполненного, интересного и т. д. Иначе говоря, речь о своего рода холодных и теплых практиках, цифровых технологиях (доказательная медицина в своих футуристических прогнозах предполагает распространение дигитальных систем сбора информации и контроля за телом каждого) и ламповых. Теплая гомеопатия вряд ли уступит лобовой атаке, переохлаждению.

Все это, естественно, не имеет никакого отношения к вопросам о том, что именно «помогает», как и кому (уточню во избежание недоразумений, что не являюсь сторонником гомеопатии и прочих подобных методов), — все эти вопросы неизбежно попадают в *double bind*: доказанное медициной невозможно гарантированно доказать на вас и в *вашем именно случае*. На чем-то другом — пожалуйста. Но вам это, возможно, не интересно. В одной из серий «Доктора Хауса» (сам Хаус, несомненно, эпистемологически находится на границе доказательной науки и паранауки, он — знахарь и в то же время судья, который выносит вердикт, не обоснованный никакими знаниями и законами) он вваливается в палату умирающей пациентки, диагноз которой наконец разгадал, и пытается донести до нее благую весть: вы умрете от очень редкой болезни, вы исключительный человек, возрадуйтесь. Умирающая не хочет его слушать, ей это не интересно, что кажется Хаусу нонсенсом: всегда интересно узнать, что происходит, особенно если это исключение. Доказательная медицина остается собой и в том случае, когда раскрытая ей аномалия убивает. Гомеопатия пытается обыграть эту возможность, утверждая, что каждый уже является аномалией, прямо сейчас, а не по завершении исследований, и именно поэтому он сможет жить; то есть аномальность полагается в качестве аксиомы. Быть в ней аномалией — это нормально. Даже если пациент аномален, для него всегда найдется отображение в теории, его собственная теоретическая версия, своего рода «личный кабинет», в который он может зайти и получить кастомизированную услугу. То есть он всегда может «зарегистрироваться» в гомеопатии, создать в ней аккаунт, тогда как в доказательной медицине в такой регистрации может быть отказано либо, что еще хуже, она может означать, что пациент будет зарегистрирован только в качестве «казуса», истину которого может явить, к примеру, вскрытие. «Отдел регистрации», «регистратура» — иницирующий и, возможно, самый красноречивый микроинститут доказательной медицины.

Было бы хорошо, если бы такое гомеопатическое знание было возможным, но никто не может знать, что это действительно знание. Каждый больной, близко знакомый со своими болезнями, вынужден в той или иной мере быть своим собственным гомеопатом — выработать индивидуализированные меры, которые вроде бы могут помочь, случайные штрихи, тики, приемы и микропаттерны поведения, которые, как можно подумать, помогают, возможно, лишь потому, что так можно подумать. Гомеопатия (как и другие «-патии») оформляет это поле домашних, крафтовых практик: это самолечение не в эмпирическом, а в трансцендентальном смысле, поскольку вопрос именно в этой «самости», которая, чтобы стать научной, должна быть вынесенной вовне, получить внешний авторитет и содержание, не оставаясь попросту произволом. Вопрос не в том, чтобы стать самим собой, вернувшись к норме (что обещает доказательная наука), а в том, чтобы стать самим собой по-своему — быть может отказавшись от нормы, но и не пострадав от этого и не заставив страдать других. Это обещают многие, но, возможно, безосновательно.

SPINNING SUBSTANCES

DMITRIY KRALECHKIN. Philosopher, translator, independent scholar, Moscow, euroontology1@mail.ru.

Keywords: anthropology of knowledge; evidence-based medicine; homeopathy; informational asymmetry; club-based practices; privilege.

The article examines a number of issues in contemporary anthropology of knowledge related to the opposition of evidence-based medicine (EBM) and “nontraditional” medical or paramedical practices such as homeopathy and osteopathy. It is suggested that such practices exploit the fundamental informational asymmetry produced by evidence-based medicine as one of its conditions. EBM takes an objectified approach that jeopardizes every customer or patient because the latter may turn out to be an outlier, and accordingly face unacceptably grave and potentially lethal consequences. For this reason, strategies of customizing and domesticating objective knowledge become very attractive. Such a domestication can clarify, to some extent, the therapeutic effect unexplained by EBM. At the same time, homeopathy and similar practices tap into the privilege of closed, club-based forms of knowledge and services: the privilege is itself privileged.

The claims of the article are illustrated by an example from Soviet cinema, where homeopathy could play the role of a marker of criminality: homeopathy promoted the setup of a chronometric screen, permitting a distancing from official medicine, investigative authorities, etc. In the end, the opposition of EBM and homeopathy can be understood as a contrast between an anomaly that could kill, and an anomaly which one could live by. Homeopathy promises the patient to find them an individual place in theory, to make a personal account.

DOI: 10.22394/0869-5377-2017-4-1-9

Политика и поэтика в теориях заговора

Илья Яблоков

Кандидат исторических наук, доктор философии,
преподаватель Университета Лидса (Великобритания).

Тигран Амирян

Кандидат филологических наук, литературовед (Москва),
преподаватель Института гуманитарных наук
Российско-армянского университета (Ереван).

Полина Колозариди

Младший научный сотрудник лаборатории политических
исследований факультета социальных наук Высшей
школы экономики (Москва).

Полина Колозариди: Откуда берутся теории заговора — вопрос, который тревожит и тех, кто в них верит, и тех, кто относится к ним в высшей степени скептически. Есть надежда, что академические исследования могут объяснить происхождение этого феномена. Как исследователи данного феномена, какие основные вопросы вы перед собой ставите? И вообще откуда берутся теории заговора?

Илья Яблоков: Прежде всего мы должны ответить на два вопроса: почему теории заговора появляются в современном мире и почему они становятся чрезвычайно актуальны в постсоветской России? Для этого необходимо найти методологическую модель, которая поможет нам на этот вопрос ответить. Американский политолог Марк Фенстер предложил считать теории заговора своеобразным политическим инструментом перераспределения власти между различными социальными или политическими группами.

П. К.: Расскажи, как эта методология работает.

И. Я.: Теории заговора помогают компенсировать недостаток собственной власти и политической легитимности через об-

винения своих оппонентов в заговоре. Эти теории буквально говорят:

Мы — в оппозиции, у нас нет власти. Но в оппозиции мы не потому, что слабые или никому не нужны, а потому, что нас лишила власти маленькая группа людей.

П. К.: А как эта идея применяется в политике?

И. Я.: Если подобная мысль вносится в политическое пространство и ее целью является один из действующих в политическом поле акторов, то результатом этого действия становится потеря легитимности политического актора, обвиненного в заговоре. Это происходит потому, что люди начинают верить, что актер-«заговорщик» нелегитимен, ведь он достиг власти путем заговора. Одновременно с этим признание собственного статуса «жертвы заговора» повышает легитимность тех, кто распространяет подобные идеи. Поэтому, используя теории заговора, политики часто повышают собственную популярность и достигают поставленных целей.

П. К.: Если взглянуть на Россию, то что мы можем узнать из теорий заговора о современной России?

И. Я.: Внимательный анализ теорий заговора позволяет оценить влияние каждой из политических идеологий. Если смотреть на российскую политическую сцену, то можно легко обнаружить различные теории заговора, распространяемые и националистами, и либералами, и прокремлевскими политиками, которые, используя подобные идеи, стремятся подорвать легитимность своих политических оппонентов. Другое дело, что некоторые теории заговора получают большее распространение в силу неравномерности доступа тех или иных политиков к медиа. И мы их замечаем больше, чем другие теории. К примеру, теории еврейского заговора вплотную ассоциируются с радикально националистическими кругами, но поскольку они достаточно сильно маргинализованы, то и антисемитские теории заговора оттеснены на обочину политического дискурса. Равно как и либеральная конспирология оказывает эффект на очень узкий круг людей. Тем не менее и либералы нередко апеллируют к подобным идеям, критикуя власть. А идея о заговоре Запада против России в целом уже стала мейнстримом.

Язык заговора и легитимность

П. К.: А как можно описать язык заговора, ведь он позволяет артикулировать недостаток легитимности и власти?

Тигран Амирян: Сегодня любая попытка говорить о конспирологии чаще заводит в тупик; возникает дискурсивный вакуум, препятствующий дальнейшим исследованиям этого сложного феномена. По крайней мере, это происходит в тех сплавлениях различных дискурсов, которые мы наблюдаем в современной России. То есть выходов из этой конспирологической реальности почти нет. У нас практически отсутствует аналитический аппарат, способствующий объективному исследованию конспирологии независимыми экспертами. Любая попытка анализировать конспирологию превращается в саму конспирологию. Это делает Дугин, например: вроде бы пишет книгу о конспирологии, но при этом его политическая ангажированность приводит к тому, что в книге он создает еще одну конспирологию. А необходимость открытого поля для дебатов очевидна. Илья начал говорить о постсоветском политическом пространстве, в связи с чем нам нужно всегда иметь в виду, что современное государство, о котором мы рассуждаем, возникает в результате заговора. Огромная масса популярной литературы самых разных жанров, самые различные источники в интернете — почти все повествуют о современной России как о государстве, которое берет свое начало с топоса «заговора». Замечу, что начало этого периода не маркируется больше «революцией». «Революция» становится нарративом прошлого, на смену приходит другое государство, определяющее свое начало совершенно новым понятием. Для меня очевидно, что если даже новая машина власти попытается разубедить аудиторию в том, что в начале 1990-х годов заработал импульс «заговора», то вряд ли у нее получится что-то толковое. И все потому, что она сама, эта властная инженерия новой формации, постепенно избавлялась и теперь почти окончательно избавилась от конкурентного поля. Теории заговора — это всегда конструируемые нарративы, которые очень уязвимы лишь перед лицом других конспирологических нарративов. Однако сегодня мы имеем дело с эпохой, с пространством, из которого постоянно вытесняется всякая амбивалентность как таковая. Теперь мы имеем дело с очень «закрытым» нарративным целым. Поэтому я бы говорил о ситуации безвыходности. Когда нет «одного» и «другого», сложно говорить о границах между ними. Но по-

добные попытки разграничения, в смысле различения, мы видим в других странах.

П. К.: В каких, например? Теория заговора — это универсальный феномен? Как к его изучению подходят исследователи в других странах?

Т. А.: К примеру, французский социолог Люк Болтански в книге «Тайны и заговоры» пытается показать неуловимую и почти прозрачную грань между двумя дискурсами — аналитическим дискурсом исследования заговора и медийным дискурсом детективного расследования. Он показывает грань между социологом и журналистом, между детективным персонажем и социологом. Эта грань очень тонкая и очень опасная, ее трудно соблюдать. В нашем случае сложность заключается, во-первых, в отсутствии собственного научного фундамента в виде собственного опыта обсуждения этого явления; во-вторых, в монолитности политического режима, при котором объект исследования, то есть политическая власть, стирает все различия и делает это активно и агрессивно. И наконец, вопрос в том, насколько мы готовы и сможем ли плодотворно использовать все эти наработки западных коллег. Во Франции подобное исследование возникло в качестве критики социологии Бурдьё: то, что называется прагматической социологией или социологией «после Бурдьё».

П. К.: Но если вернуться к вопросу о «закрытости» конспирологического нарратива, то возникает впечатление, что люди, которые пишут о конспирологии, вынуждены становиться героями повествований о конспирологии.

Т. А.: Иногда да. И здесь можно перенести опыт наблюдения за художественными текстами на близкую нам политическую ситуацию. Это хорошо видно на примере последних событий с Украиной. Даже те политологи, которые не были ранее замечены в производстве конспирологического дискурса, которые просто пытались понять, что произойдет дальше, регулярно использовали термин «сценарий»: какой же сценарий будет дальше — чехословацкий или абхазский? Это попытка нарративизировать реальность и попытка объяснить реальность с помощью каких-то больших нарративов, взятых из прошлого. Все дебаты автоматически превращаются в игру на грани утопии и антиутопии. Когда политологи и публицисты говорят о возможных «сце-

нариях», это всегда предполагает две вещи. Во-первых, все интенции власти являются тайной для общества, и здесь мы видим автоматическое разделение на «большое» и «маленькое» общества, на закрытое и открытое. А политологи выступают в роли условных детективов, которые с помощью улик и знания истории повествуют «большому» обществу обо всех действиях власти, совершаемых и ожидаемых. Политологи и СМИ становятся подобным агентом между двумя типами общества. Во-вторых, возникает ситуация, очень близкая сюжету романа «Маятник Фуко», когда, конструируя различные рассказы о заговоре, повествователи незаметно для себя вовлекаются в реальный заговорщический план. Это хитрости языка, которыми конспирология всегда охотно пользуется как главным инструментарием. Фальсифицируются не предметы и артефакты, фальсифицируется сам рассказ о реальности.

П. К.: Как мы можем, исследуя художественную литературу, понять язык заговора в окружающей реальности и политике? Ты ведь недавно опубликовал монографию о языке заговора.

Т. А.: На мой взгляд, анализ художественных текстов довольно успешно должен способствовать изучению конспирологического дискурса в политике. Конспирологический дискурс всегда стремится к тому, чтобы разрушить сам принцип «различения», потому что главная его цель — это вера аудитории в те повествования, которые он продуцирует. Это практически совпадает с интенциями романиста, который создает идеальный и максимально приближенный к реальности мир. Однако с художественными текстами работа ведется немного иначе, так как у литературоведов есть четкое понимание конвенциональности, на которой держится сам исследовательский принцип. О политическом дискурсе мы не можем сказать однозначно, что это изначально вымысел, что сам принцип фикциональности создает некий буфер между «реальностью» и «повествовательностью». Политический дискурс в этом отношении более эффективно или даже агрессивно стремится блокировать возможность создания всякого метаязыкового инструментария, который можно было бы применить к его собственной структуре.

П. К.: Существует ли читатель конспирологий в России и есть ли конспирологический роман, столь же популярный, как на Западе? Как вообще обстоит дело с конспирологическим романом в Рос-

сии? На Западе есть Дэн Браун и Томас Пинчон, существует целая культура детективного романа, основанного на идее заговора. Взять хотя бы «Маятник Фуко» Умберто Эко.

Т. А.: Хочу заметить, что мы часто обманываем себя, когда говорим о западном типе конспирологического романа, который у нас отсутствует. У нас нет хитов, массовых романов, бестселлеров, которые смогли бы покрыть все лакуны, существующие в популярном чтении. Но это другая проблема, связанная с потенцией русской словесности вообще. При этом русская литература постсоветского времени (а мы сегодня говорим об этом периоде) насквозь пропитана идеей тотального заговора, от романов Сорокина до акунинских экспериментов в масслите, когда автор вполне осознанно создавал репрезентативную формулу русского конспирологического детектива, — везде прослеживается тема некоей невидимой реальности, существования двух типов обществ (закрытого и открытого). Анализируя популярный конспирологический текст, востребованный не в одной, а во многих странах, переведенный на многие языки, можно проследить особенность структуры и архитектоники этого текста. Конспирологический роман выстраивается как ансамбль поверхностных знаков. Это мифы об истории, поверхностные знания об истории, которые соединяются друг с другом посредством самых примитивных нарративных сцеплений. И такие авторы, как Борис Акунин, Арсен Ревазов, Алексей Евдокимов и некоторые другие, держали руку на пульсе мирового литературного процесса, создавая достойные «ответы», «реплики» и пародии на западные конспирологические романы.

П. К.: В чем особенность этого знания? И как эти поверхностные знания могут вызывать веру в рассказываемые истории?

Т. А.: Эта поверхностность натолкнула меня на мысль, что герой этих романов, субъект, находится всегда в пассивной позиции, всегда подчинен некоему заданному плану. Мало того, что это детективные романы, а значит, герои изначально подчинены жесткой структуре детектива, реконструкции истории как детективного расследования, — они еще подчинены каркасу заговора, конспирологическому сюжету. Эта пассивность почти совпадает с пассивностью психоаналитической. В психоаналитическом плане параноик, который верит в заговоры, — это пассивное существо, которое всегда перекладывает ответственность на другого,

постоянно произнося «это Они». «Они» не определены, находятся за пределами того пространства, где существует его реальность. Он сам существует в одной реальности, очерченной его повседневностью, бытом и так далее, но при этом он себя всегда ставит в пассивную позицию, чтобы активную позицию отдать некоему Большому Другому.

И. Я.: Да, Большой Другой и является истинным «центром власти» для этого персонажа. Вот тут и получается, что анализ политической риторики и анализ художественной литературы сходятся в одной точке: условно слабый противостоит условно сильному. И этот конфликт — центральный для любой политической системы современного мира, не важно — демократии, авторитаризма или жесткого тоталитаризма.

Корпорации, глобализация и заговор: как перестать беспокоиться?

П. К.: Получается, что независимо от того, какая политическая система, теория заговора будет все равно существовать. А по мере развития технологий и глобализации разные страны будут разделять один и тот же конспирологический нарратив?

Т. А.: Глобализационный процесс требует более крупных заговоров. Нужны заговоры, направленные не просто на отношения между Россией и Украиной, Россией и США, а глобальные заговоры, заходящие далеко за пределы национальных государств.

И. Я.: Теория мирового правительства, Бильдербергский клуб — типичные примеры таких теорий.

П. К.: Да, посмотрите на современные конфликты вокруг двух глобальных тем: развития технологий и проблем экологии. С одной стороны, они повторяют риторику конфликта природы и культуры, которая является почти ровесницей национальных государств. Но сам язык этой риторики сегодня использует нарративы теории заговора. Так, представление о том, что «интернет придумали американские военные, чтобы захватить мир», — часть той самой борьбы за власть и легитимность. В каждой второй публикации на тему вредоносности интернета одно и то же: это продукт глобального сговора. В нем участвуют корпорации и американское правительство, отсюда и «твиттер-ре-

волюции», слежка за данными в фейсбуке. Или экологическая тема невозможна без заговорщиков, которые то договорились поставлять фреон, то решили его запретить. На уровне просто-го обывателя — идея о том, что корпорации сговорились добавлять в еду генно-модифицированные продукты, чтобы разрушать естественную человеческую среду обитания. Кажется странным, нерациональным, но это работает во всех странах и не теряет популярности, хотя, повторю, этим идеям про «природу против техники» уже не одна сотня лет.

И. Я.: Теории заговора о том, что корпорации контролируют мир, изначально появились в США и потом, по мере глобализации мира, стали поистине международными. Невероятная власть и технические возможности, которые получили корпорации и банки в современном мире, безусловно, вызывают страх у некоторых людей, столкнувшихся с тем, что мир стал другим. Сложно быстро осознать, что новые коммуникации до неузнаваемости изменили мир и теперь экономические проблемы в одной стране могут легко обрушить экономику десятка других государств. Транснациональные корпорации стали важными международными игроками, обладающими огромной властью. Справиться с ними невозможно, контролировать практически нельзя. А ведь жизнь обычного человека все больше стала зависеть именно от корпораций: от еды, которую они производят, от техники до лекарств. Если человек настолько зависим от них, но не обладает возможностью их контролировать, неудивительно, что появляются теории заговора, описывающие корпорации как источник зла.

Теория заговора как норма

П. К.: Из такого исторического объяснения можно предположить, что теория заговоров и ее существование в современном обществе — это нормально, и нам с этим ничего нельзя сделать. Каким образом тогда мы должны инструментально к этому подходить? Тигран говорит, что это язва, порок, что мы не должны применять используемый ими язык, положить их в черный ящик. Каково твое мнение по этому поводу?

И. Я.: В любом обществе есть определенный дисбаланс в социальных, экономических, политических, культурных отношени-